



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

стихотворения

Собрание больших поэтов

Владимир Маяковский
Стихотворения

«ЭКСМО»

1912–1933

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Маяковский В. В.

Стихотворения / В. В. Маяковский — «Эксмо», 1912–
1933 — (Собрание больших поэтов)

ISBN 978-5-04-176518-7

Гений всегда универсален, но в предлагаемой книге Владимир Маяковский представлен прежде всего как лирик трагического мироощущения, не находящий общего языка с большинством, который с русским избыточным нетерпением «торопил свою судьбу» (А. Ахматова), и как острый сатирик, веривший в высокие идеалы, но в жизни столкнувшийся с их чудовищными искажениями. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-176518-7

© Маяковский В. В., 1912–1933
© Эксмо, 1912–1933

Содержание

Вступление	6
Стихотворения	10
Кое-что про Петербург	10
А вы могли бы?	11
Исчерпывающая картина весны	12
Любовь	13
Адище города	14
Ничего не понимают	15
Нате!	16
А все-таки	18
Кофта фата	19
Послушайте!	20
Скрипка и немножко нервно	21
Вам!	23
Я и Наполеон	24
Военно-морская любовь	27
Гимн обеду	28
Теплое слово кое-каким порокам	30
Вот так я сделался собакой	32
Кое-что по поводу дирижера	34
Пустяк у Оки	35
Великолепные нелепости	36
Чудовищные похороны	38
Мое к этому отношение	40
Флейта-позвоночник	41
Ко всему	49
Себе, любимому,	53
России	55
Эй!	56
Никчемное самоутешение	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Владимир Владимирович Маяковский

Стихотворения

© Быков Д. Л., предисловие, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Вступление

Разговорчивый Маяковский

Маяковского вечно упрекали за ячество, анархизм и буржуазный индивидуализм. В эпоху принудительного коллективизма – который он же и славил, – такая яркая, неудобная и попросту крупная личность действительно бросалась в глаза. Несколько раз ему на выступлениях подавали записки, в которых упрекали за яканье. Отвечал он резко: а Николай Второй, который везде писал о себе «Мы», – был, значит, коллективистом? А если вы своей девушке скажете «Мы вас любим», – она же в первую очередь спросит «А сколько вас?».

Но вообще-то поэзия Маяковского не монологична – она как раз изначально рассчитана на диалог, что и видно из этого сборника, составленного одним из лучших современных поэтов Татьяной Ларюшиной, автором очень откровенной, незащитной и внешне совсем не гражданской лирики. Эта книга по-хорошему должна бы называться «Разговорчики» – как иронически называл он свои «Разговорчики с Эйфелевой башней». У Маяковского очень много диалогов, только получается так, что все они с неодушевленными предметами: с упомянутой башней, с фотографией Ленина на стене (с живым ему поговорить так и не случилось), с бронзовым Пушкиным на Тверском бульваре... Есть, правда, «Разговор с фининспектором о поэзии», но фининспектор – представитель государства и тоже почти статуя; это не конкретный сборщик налогов, советский мытарь, а Фининспектор с большой буквы Ф, персонаж символический. Есть у него и немало посланий – к Татьяне Яковлевой или к товарищу Кострову (редактору «Комсомолки») о любви к Татьяне Яковлевой, – но трудно представить ответы от этих адресатов: они стихов не писали, да и письмами его не баловали. Маяковский и рад бы общаться, но не с кем: приходится беседовать либо с памятниками, либо с гигантскими архитектурными сооружениями. Когда же он обращается к девушке в американской витрине, она совершенно не понимает, что он хочет сказать, потому что он ни одного языка, кроме русского, не знает:

Я злею:
«Выдь,
окно разломай, —
а бритвы раздай
для жирных горл».
Девушке мнится:
«Май,
май горл».

Сплошная некоммуникабельность. Все разговоры – с заведомо безответными собеседниками, включая Россию, к которой он обратил одно из отчаяннейших стихотворений, включая Бога, который ему ни разу не ответил; включая Вселенную, которая «спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо». Он и так, и сяк обращает на себя их внимание, начинает одно из лучших стихотворений криком «Послушайте!» – ноль эмоций.

Отсюда и главный вывод о себе – «такой большой и такой ненужный»; равного собеседника нету – вот и приходится описывать то «Военно-морскую любовь», то «Разговор на рейде судов «Красная Абхазия» и «Советский Дагестан». Иногда кажется, что Маяковскому любовь пароходов, паровозов или небоскребов была понятней сложных и одновременно мелких человеческих взаимоотношений, что Бруклинский мост был ему понятней и ближе, чем любой современник, более всего озабоченный квартирным вопросом; что ему уютней было среди

лошадей, чем среди людей, – и Ходасевич, презрительно обозвав его декольтированной лошадью, учуял именно эту его нечеловеческую природу. Все это у него хорошо отрефлексировано, поэзия его легко разбирается на цитаты – риторически он чрезвычайно убедителен и находит идеальные формулы для любых состояний, прежде всего для собственного одиночества:

Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души
не шагает
рядом.
Мне скучно
здесь
одному
впереди, —
поэту
не надо многого, —
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
...
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde.

Как видим, на одной этой лирической теме – отсутствие равного собеседника, равной возлюбленной, нечеловеческая природа собственного таланта и личности – можно продержаться в литературе двадцать лет и еще сто лет потом оставаться любимым поэтом нервических юношей и девушек (любимым поэтом пролетариата Маяковский так и не стал, тут он Асадову не конкурент и даже Смелякову проигрывает). Весна человечества, рожденная в трудах и в бою, не состоялась; страна-подросток – давно уже страна-старик со всеми стариковскими эмоциями и комплексами, со страхом любых перемен и бесконечным культом славного прошлого. Девяносто процентов поэтической продукции зрелого Маяковского – стихотворные фельетоны и жестяное гроыхание лозунгов – актуально лишь как иллюстрация работы поэта в СМИ, образец рекламы, независимо от того, реклама ли это папирос, сосок или социалистического общества. Но главная лирическая тема Маяковского – вопиющее несоответствие между собой и остальным человечеством – остается вечно актуальной: каждый хоть раз в жизни такое чувствовал, а он с этим прожил всю сознательную жизнь.

Эта человеческая некоммуникабельность привела к тому, что в собеседники он все время выбирал то гигантские аудитории, то Атлантический океан. С людьми у него не очень получалось – от женщин ему, по сути, нужно было только одно, к этому он и переходил почти сразу, а

среди мужчин равный ему собеседник был редкостью, тем более что и великие современники были по преимуществу нелюдимами вплоть до социального аутизма. Вдобавок он почти не пил, так что пьяные откровенности – не его стихия. Маяковский бешено ездил по всей стране, а когда была возможность – и по Америке, Мексике, Европе, пытаясь криком перед бесчисленными залами компенсировать недостаток живого общения. И надо сказать, эти аудитории далеко не всегда отвечали ему язвительными записками – случалось, он их завоевывал; может быть, аудитория и была той единственной женщиной, власть над которой могла его удовлетворить. Желание жениться на площади Согласия – это жажда добиться согласия от толпы, которая собирается слушать поэта; недаром для этой толпы было у него почти женственное определение – «толпа, пестрошерстная быстрая кошка». Ключевое слово в его поэзии – голос, этим голосом он владел, как гимнастка лентой, ему подвластны все диапазоны – от фальцета до баса профундо; гениальный ритор, он знает все о том, КАК говорить. А ЧТО говорить – ему в значительной степени безразлично – как тенору безразлично, о чем петь: поэзия Маяковского – идеальная демонстрация голосовых возможностей, антология ораторских приемов. Тема всегда одна: говорить о том, как не с кем поговорить, как все ему дано, а не дано главного – равного.

Маяковский панически боится говорить о себе правду – правда заключается в неуверенности, в отсутствии права на существование, в отчаянной зависти и ненависти ко всем, кто это право легко и беззаботно получает от рождения. Игромания Маяковского – непрерывное загадывание на числа, на карточные масти, на номера трамвайных билетиков – имеет ту же природу: непрерывное вопрошание мира – имею ли я право быть? Отсюда же его ненависть ко всякого рода судам и судилищам, к любому насилию над человеком (которое он столько раз опозитизировал), к мироустройству, в котором все давит и ранит. Заглянуть в себя для него значило бы заглянуть в пространство постоянного, неизлечимого дискомфорта, в ад вечной нервозности, непрочности, за грань безумия. Возможно, его можно было вылечить – и это даже не привело бы к утрате дара, поскольку невропатия в конце концов только мешала, а не помогала ему сочинять; возможно, такой аутотерапией могла бы оказаться и лирика – поскольку Франкл доказал, что только логотерапия способна помочь невротiku; но как раз логотерапии он себе не позволял. А от самой лучшей стихотворной передовицы в смысле самолечения толку мало: в лучшем случае она убедит колеблющихся и заставит своевременно мыть руки. В конце концов, Блок тоже погиб, когда утратил способность писать, «к самой черной прикасаться язве»: пока писал, он способен был выносить собственную гипертрофированную реактивность, чувствительность, душевный дискомфорт. Маяковский перестал говорить о себе с 1923 года, да и до этого прикасался к собственным неврозам крайне осторожно. Заниматься живописью при таком душевном строе вполне возможно, но иметь дело со смыслами и тем более с лирикой – никак.

Маяковский – трагедия поэта, который начал как гений и не мог продолжать ни в каком ином качестве; трагедия поэта, испугавшегося собственной бездны и попытавшегося спастись из нее во всемирной катастрофе, которая одно время с этой бездной резонировала. Потом все кончилось. Блок почувствовал это раньше – Маяковскому хватило запаса витальности еще на девять лет. Но уже в 1927-м он повторил блоковское «Хорошо» – которое было прежде всего предсмертным; не зря «октябрьская поэма» получила именно это название – подсказанное Блоком в разговоре о сгоревшей библиотеке. Та же сгоревшая библиотека – «Над всем, что сделано, ставлю nihil» – была в душе у Маяковского; жить с этим, как показал опыт, нельзя. А искать спасения в мировой культуре или в преодолении собственных болезней ему казалось бессмысленным: культура Серебряного века развивалась под знаком трагедии. И в самом деле выздоровление, культурный рост или психоанализ были бы в этом случае непозволительным уходом от жанра.

Нельзя не заметить под занавес, что на фоне собранных здесь стихотворений большинство критиков Маяковского, его современников, искренне его ненавидевших, и даже ссорившихся с ним поэтов, справедливо говоривших о его исчерпанности и однообразии, – не то что имеют бледный вид, но просто еле различаются. Время – честный парень, говорят итальянцы. Маяковский, при всех своих сбоях, тоже был честный парень.

Дмитрий Быков

Стихотворения

Кое-что про Петербург

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полосы;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу – стихши – ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

[1913]

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

[1913]

Исчерпывающая картина весны

Листочки.
После строчек лис —
точки.

[1913]

Любовь

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пары сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряной мазурки,
и вот я – озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

[1913]

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

[1913]

Ничего не понимают

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

[1913]

Нате!

Басня о «Крокодиле» и о подписной плате

Вокруг «Крокодила»
компания ходила.
Захотелось нэпам,
так или иначе,
получить на обед филей «Крокодилячий».
Чтоб обед рассервизить тонко,
решили:
Сначала измерим «Крокодилёнка»! —
От хвоста до ноздри,
с ноздрею даже,
оказалось —
без вершка 50 сажен.
Перемерили «Крокодилину»,
и вдруг
в ней —
от хвоста до ноздри 90 саженой.
Перемерили опять:
до ноздри
с хвоста
саженой оказалось больше ста.
«Крокодилище» перемерили
ну и делища! —
500 саженой!
750!
1000!
Бегают,
меряют.
Не то что съесть,
времени нет отдохнуть сесть.
До 200 000 саженой дошли,
тут
сбились с ног,
легли —
и капут.
Подняли другие шум и галдеж:
«На что ж арифметика?
Алгебра на что ж?»
А дело простое.
Даже из Готтентотии житель
поймет.
Ну чего впадать в раж?!
Пока вы с аршином к ноздре бежите,

у «Крокодила»
с хвоста
вырастает тираж.
Мораль простая —
проще и нету:
**Подписывайтесь на «Крокодила»
и на «Рабочую газету».**

[1922]

А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

Кофта фата

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

[1914]

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

[1914]

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

[1914]

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре ...¹ буду
подавать ананасную воду!

[1915]

¹ Слово на букву «б» во множественном числе.

Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.

Тихонькое.
Ну?
Кажется – какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, – набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.

Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!
Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съжится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена

погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

Военно-морская любовь

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносъему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносъему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

[1915]

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!

Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

[1915]

Теплое слово кое-каким порокам

(почти гимн)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтера помощница,
ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зеленое, как трешница.

Портной, например. Чего ты ради
эти брюки принес к примерке?
У тебя совершенно нету дядей,
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной
не верили – а верили в рубль.

Живешь уютжить и ножницами раниться.
Уже сединою бороду перевил,
а видел ты когда-нибудь, как померанец
растет себе и растет на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,
вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики – бухгалтеры, девочки – помощницы,
те и те
будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,
просто,
снял в «железку» по шестой руке
три тысячи двести – со ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,
зубоскалят, будто помог тем,
что у меня такой-то и такой-то туз
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи
блестели, как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,

как без труда и хитрости,
чистоплотно и хорошо
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще,
будто хрен натирают на заржавленной терке,
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»

[1915]

Вот так я сделался собакой

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и — остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаке:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?

Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ошестинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

[1915]

Кое-что по поводу дирижера

В ресторане было от электричества рыжо.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,
труба – изловчившись – в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опоенной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал – раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.
Когда наутро, от злобы не евший,

хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

[1915]

Пустяк у Оки

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию...»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.
Вы мне мешаете
у камыша идти...»

[1915]

Великолепные нелепости

Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!
Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,
просто – похож на пушечный.
И не от газа маска,
а ради шутки игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.
Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это – дико!
Просто избранных из бранных
одаривали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то – для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто – не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудака.

Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

[1915]

Чудовищные похороны

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас – вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало – каша,
смятая морщинками на вымуренном лбу,
а если кто смеется – кажется,
что ему разодрали губу.

[1915]

Мое к этому отношение

(гимн еще почтее)

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте,
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки холеные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

[1915]

Флейта-позвоночник

Пролог

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь

и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,

Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.

Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,

пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную, рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,

зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.

Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелю во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызрилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творишь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень»,
Смятением разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.

Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирили б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.
И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик

ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленипреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.
Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творишь,
распятью равная магия.
Видите – гвоздями слов
прибит к бумаге я.

1915

Ко всему

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоём — как на смертном одре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью

в исповеди!

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот – я,

весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

[1916]

Себе, любимому, посвящает эти строки автор

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью обьял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —

кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

[1916]

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесь.

«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пелятся.
Обдают водой холода.
Весь истыканный в дымы и в палыцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

[1916]

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокиший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетишься, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

[1916]

Никчемное самоутешение

Мало извозчиков?
Тешьтесь ложью.
Видана ль шутка плоче чья!
Улицу врасплох огляните —
из рож ее
чья не извозчичья?

Поэт ли
поет о себе и о розе,
девушка ль
в локон выплетет ухо —
вижу тебя,
сошедший с козел
король трактиров,
ёрник и ухарь.

Если говорят мне:
Помните,
Сидоров
помер? —
не забуду,
удивленный,
глазами смерить их.
О, кому же охота
помнить номер
нанятого тащиться от рождения к смерти?!

Все равно мне,
что они коней не пбят,
что утром не начищают дуг они —
с улиц,
с бесконечных козел
тупое
лицо их,
открытое лишь мордобою и ругани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.